



365

Загадки равновесия

Владимир Кожедеев

Владимир Кожедеев

Загадки равновесия

<https://litres.ru/74439977>

SelfPub; 2026

Аннотация

Россия, конец XIX века. Уездный город N. Пётр Иванович Курочкин — коллежский регистратор, мелкий чиновник, человек настолько обыкновенный, что его не замечают даже сослуживцы. Однажды на именинах у казначея он случайно выпивает настойку на мухоморах — и обретает дар, который изменит всё.

Он начинает видеть числа над головами людей. Числа, которые означают срок жизни. Дни, оставшиеся человеку до смерти.

Курочкин не просил этого дара. Не хотел его. Но теперь он не может закрыть глаза. Он видит, как умирают люди. Видит, как убивают. Видит паутину преступлений, которая покрывает город, — и в центре этой паутины скрывается тот, кого никто не может найти.

Ему предстоит пройти путь от робкого чиновника до человека, способного бросить вызов самой могущественной силе в губернии. У него будут друзья — молодая вдова Анна и отставной поручик Дмитрий. Будут враги — шантажисты, убийцы, продажные полицейские. Будет любовь. Будет предательство. Будет тюрьма. Будет победа.

Содержание

Вместо вступления	4
Глава 1. Аптечная ошибка	5
Глава 2. Что означают числа	15
Глава 3. Ночной гость	25
Глава 4. Проблема, которую нужно решить	35
Глава 5. Подруга	45
Глава 6. Друг	59
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Владимир Кожедеев

Загадки равновесия

Вместо вступления

Жил-был в уездном городе N коллежский регистратор Пётр Иванович Курочкин — человек настолько обыкновенный, что его порой не замечали даже собственные сослуживцы. Однажды на именинах у городского казначея ему подсунули вместо водки какой-то мутный настой из аптеки — перепутали графины. Выпил Пётр Иванович залпом, крякнул, и увидел, как над головой хозяина дома висит цифра «47». Над супругой его — «52». Над городовым, что стоял у дверей, — «31».

— Что за чертовщина? — пробормотал Курочкин, протирая глаза.

— Что, батенька, проняло? — захохотал казначей. — Это настойка на мухоморах, от ревматизма!

К утру цифры не исчезли. А через неделю Пётр Иванович понял: цифры — это то, сколько дней осталось человеку до... чего-то. И понял он это в тот момент, когда над его собственным отражением в зеркале появилось число «365».

Глава 1. Аптечная ошибка

Пётр Иванович Курочкин проснулся в половине седьмого утра от того, что за стеной, у соседей-мещан Гусевых, снова дрались. Точнее, дралась жена Гусева — сковородкой по мужу, — а сам Гусев, судя по звукам, уклонялся с похвальной для человека его комплекции ловкостью. Курочкин полежал ещё минуту, глядя в потолок, где расплывалось желтоватое пятно от протечки, и подумал, что за тридцать четыре года жизни он так и не научился ничему, кроме искусства не замечать происходящего вокруг.

Квартира его состояла из двух комнат и кухни, обставленных с той казённой простотой, которая бывает у людей, давно махнувших рукой на устройство личного быта. Диван, продавленный в центре, как седло старой лошади. Стол, заваленный бумагами со службы. Этажерка с книгами, которые он собирался прочесть ещё лет десять назад. На подоконнике — герань, засохшая наполовину, потому что поливать её Курочкин вспоминал примерно раз в неделю, обычно по воскресеньям, когда с тоской смотрел в окно на церковную колокольню.

Он встал, умылся холодной водой из рукомойника, побрился перед мутным зеркалом, порезавшись дважды — один раз на подбородке, другой раз на шее, — и принялся натягивать вицмундир. Мундир был старый, с потертыми лок-

тями и чуть блестящими от времени пуговицами, но другого не было. Жалованье коллежского регистратора — четырнадцатого класса, самого низшего в табели о рангах, — не позволяло ни нового мундира, ни приличных сапог, ни даже прислуги. Хотя, по правде говоря, прислуга Курочкину была ни к чему: он и сам едва замечал свою жизнь, что уж говорить о других.

Завтракал он всегда одинаково: кусок чёрного хлеба, щепотка соли, стакан пустого чая. Иногда, по праздникам, добавлял ломтик колбасы, купленной в лавке на углу, — той самой, где приказчик, молодой человек с усиками и вечной улыбкой, всегда отпускал ему товар с лёгким презрением, словно взвешивал не колбасу, а самого Курочкина.

— Доброго утречка, Пётр Иваныч, — сказал приказчик в то утро, когда Курочкин зашёл за хлебом. — Что-то вы сегодня бледный. Не захворали ли?

— Нет, — ответил Курочкин. — Просто спал плохо.

— А-а, — протянул приказчик и отвернулся, потеряв интерес.

Курочкин вышел на улицу. Был конец сентября, и город N, уездный центр, утопал в грязи и тумане. Дома стояли серые, словно вымокшие насквозь; вывески на лавках облезли; извозчики на площади дремали на козлах, укрывшись рогожами. Пахло мокрой шерстью, дымом и чем-то кислым, что всегда приносил с собой ветер с реки.

Он шёл по тротуару, вернее, по тому, что считалось тро-

туаром — дощатому настилу, местами прогнившему, — и кивал знакомым. Знакомых было немного: почтальон, городской, аптекарь, пара чиновников из присутствия. Все они отвечали ему такими же кивками, не задерживаясь, не вступая в разговор. Курочкин был из тех людей, о которых говорят: «Хороший человек, но...» — и дальше ничего не добавляют, потому что добавить нечего.

Служба его находилась в казённом здании на Соборной площади — двухэтажном, с облупившейся жёлтой краской и высокими окнами, за которыми всегда царил полумрак. Курочкин служил в канцелярии уездного казначейства, в отделении, где велись книги о недоимках. Работа была простая: переписывать бумаги, подшивать дела, составлять описи. За четырнадцать лет службы он переписал, вероятно, миллион листов, и ни один из них не имел ни малейшего значения.

В канцелярии сидели ещё четверо: столоначальник Иван Петрович Барабанов, человек с одышкой и вечным недовольством; его помощник, молодой чиновник по фамилии Козлов, мечтавший о переводе в губернию; два писца, братья Семёновы, похожие друг на друга, как две капли воды, и столь же безликие. Курочкин сидел у окна, за отдельным столом, и его никто не трогал. Это было единственное преимущество его положения: он был настолько незаметен, что даже начальство не находило повода его ругать.

— Курочкин, — сказал однажды Барабанов, проходя мимо. — Вы бы поторопились с описью. Завтра к губернатору

пойдёт.

— Будет сделано, Иван Петрович, — ответил Курочкин, не поднимая головы.

Он всегда отвечал так: «Будет сделано», «Слушаюсь», «Непременно». Слова эти давно потеряли для него смысл, превратившись в привычный шум, как скрип пера по бумаге или кашель Барабанова.

В тот день, впрочем, случилось нечто необычное. В канцелярию зашёл человек — не из их ведомства, судя по мундиру, — и направился прямо к столу Курочкина.

— Вы Пётр Иванович Курочкин? — спросил он.

— Я, — ответил Курочкин, поднимая глаза.

Человек был невысок, лысоват, с аккуратной бородкой и глазами, которые смотрели внимательно и чуть насмешливо. Он протянул Курочкину конверт.

— Вам приглашение. От казначея, Петра Петровича Кривошеева. На именины. Сегодня вечером.

Курочкин взял конверт, удивлённый. Казначей Кривошеев был человек важный, богатый, и приглашать к себе мелкого регистратора ему не было никакой надобности. Но, с другой стороны, Курочкин знал: Кривошеев любил окружать себя людьми незначительными, чтобы на их фоне выглядеть ещё величественнее.

— Благодарю, — сказал Курочкин. — Непременно буду.

Человек кивнул и вышел. Барабанов, наблюдавший сцену из-за своего стола, хмыкнул:

— Смотрите, Курочкин. К самому казначею. Не ударите лицом в грязь.

— Постараюсь, Иван Петрович, — ответил Курочкин и спрятал конверт в карман.

Именины у Кривошеева отмечались широко. Дом его, стоявший на лучшей улице города, был ярко освещён; у ворот стояли экипажи; из открытых окон доносилась музыка — играл квартет, выписанный из губернии. Курочкин, подойдя к дому, почувствовал, как у него сжимается что-то в груди. Он не любил таких сборищ. Но отступить было поздно.

В передней его встретил лакей — настоящий лакей, в лифее, с белыми перчатками, — и проводил в гостиную. Там уже собралось человек тридцать: чиновники, купцы, офицеры, дамы в нарядных платьях. Курочкин никого не знал близко, но многих знал в лицо. Он поклонился, пробормотал приветствие хозяину — грузному человеку с красным лицом и громким голосом, — и отошёл в угол, к окну, где стоял маленький столик с закусками.

Вечер тянулся медленно. Курочкин ел, пил, слушал разговоры, которые его не касались, и смотрел на часы. В половине одиннадцатого, когда гости уже изрядно выпили и начали расходиться по залам, кто-то тронул его за локоть.

— Пётр Иванович, голубчик! А я вас и не заметил!

Это был хозяин, Кривошеев. Он был пьян, глаза его блестели, и он держал в руках два графина.

— Вы что же это, не пьёте? — спросил казначей, наклоняясь к Курочкину. — Так не годится. У меня, знаете ли, настойка особенная. От ревматизма. Аптекарь мой, немец, готовит. Попробуйте.

Он налил в рюмку мутноватую жидкость — жёлто-зелёную, с каким-то осадком на дне — и протянул Курочкину.

— За ваше здоровье, Пётр Петрович, — сказал Курочкин и выпил.

Жидкость обожгла горло, отдавая чем-то травяным, горьким, с лёгким привкусом грибов. Курочкин закашлялся.

— Крепка, — сказал он, вытирая слёзы.

— Ещё бы! — захохотал Кривошеев. — Немец мой — гений. Три мухомора на бутылку. И ещё чего-то добавляет. Секрет.

Курочкин кивнул и отошёл. В голове у него слегка зашумело, но в остальном он чувствовал себя нормально. Он вернулся к своему углу, взял с подноса пирожок, откусил... и вдруг замер.

Над головой Кривошеева, который отошёл к другому гостю, висела цифра.

Курочкин моргнул. Цифра не исчезла. Она была чёткая, как если бы её написали мелом на воздухе: 47.

Он перевёл взгляд на соседнего гостя — толстого купца с золотой цепью на животе. Над ним висело 62. Над женой купца — 51. Над молодым офицером, стоявшим у двери, — 23.

— Что за чертовщина? — пробормотал Курочкин, протирая глаза.

Ничего не изменилось. Цифры висели над людьми, как ценники в лавке. Курочкин почувствовал, как у него холодеют руки. Он поставил рюмку на поднос и, стараясь не привлекать внимания, вышел в коридор.

Там было пусто. Он прислонился к стене, закрыл глаза, сосчитал до десяти. Открыл. Цифры исчезли. Он облегчённо выдохнул.

— Померещилось, — сказал он вслух. — Перепил.

Он вернулся в гостиную. И снова увидел цифры. Они были повсюду: над гостями, над лакеями, над музыкантами. Курочкин посмотрел на своё отражение в зеркале — и вздрогнул. Над его собственным изображением висело число 365.

Он отвернулся. Сердце колотилось. Он схватил с подноса бокал шампанского, выпил залпом, потом ещё один. Ничего не изменилось. Цифры остались.

— Что, батенька, проняло? — раздался рядом голос Кривошеева. Казначей, пошатываясь, подошёл к нему и хлопнул по плечу. — Это настойка на мухоморах! Немец говорит, от ревматизма помогает. А вы что, уже видите что-то? — Он захохотал. — Говорят, некоторые после неё чертей видят!

Курочкин посмотрел на него. Над головой Кривошеева всё ещё висело 47.

— Нет, — сказал Курочкин. — Ничего не вижу.

— Ну и славно, — кивнул казначей и отошёл.

Домой Курочкин шёл пешком, несмотря на грязь и темноту. Ему нужно было подумать. Цифры не исчезали. Они висели над редкими прохожими — над городовым, спавшим на скамейке, над пьяным мещанином, бредущим вдоль забора, над женщиной, которая выглянула из окна. Курочкин пытался не смотреть, но не мог. Цифры притягивали взгляд, как пламя свечи в темноте.

Дома он зажёл лампу, сел за стол, положил перед собой лист бумаги. Над его собственным отражением в тёмном стекле окна висело 365.

— Триста шестьдесят пять, — прошептал он. — Дней? Часов? Чего?

Он просидел до утра, пытаясь понять. В голову приходили разные мысли: что это бред, что это белая горячка, что это последствие проклятой настойки. Но цифры были слишком чёткими, слишком логичными. Они не были хаотичны. Они что-то означали.

К пяти утра он забылся сном, сидя за столом. Когда проснулся, было уже светло. Он выглянул в окно: по улице шёл старик, сосед с третьего этажа, с палочкой. Над его головой висело 3.

Курочкин смотрел, как старик идёт, как он останавливается, чтобы отдышаться, как он поднимается по ступенькам подъезда. Потом отвернулся и пошёл умываться.

Через три дня старик умер. Тихо, во сне. Соседи говорили: «Сердце». Курочкин стоял на похоронах, смотрел на

гроб, на лица людей, на цифры над их головами — и понимал, что это не бред. Это не белая горячка. Это что-то другое.

Он вернулся домой, сел за стол и заплакал. Впервые за много лет. Потому что понял: с этой минуты его жизнь никогда не будет прежней. Он видел то, чего не должен видеть человек. И он не знал, что с этим делать.

На следующий день он пошёл на службу, как обычно. Переписывал бумаги, подшивал дела, кивал Барабанову. Но теперь он смотрел на людей иначе. Над каждым висело число. Над Барабановым — 28. Над Козловым — 44. Над братьями Семёновыми — 39 и 41.

Курочкин не знал, что означают эти числа. Он мог только догадываться. Но одна мысль не давала ему покоя: если над стариком было 3, и он умер через три дня... значит, числа означают дни. Дни до смерти.

Он посмотрел на своё отражение в тёмном стекле шкафа. 365.

— Год, — прошептал он. — У меня остался год.

Он не знал, что делать. Не знал, кому сказать. Не знал, как жить с этим. Но он знал одно: с этой минуты он будет смотреть на людей иначе. И, возможно, — он ещё не смел надеяться, — он сможет что-то изменить.

За окном шёл дождь. Город N тонул в тумане. А Пётр Иванович Курочкин, коллежский регистратор четырнадцатого класса, сидел за своим столом и смотрел на цифры, ко-

торые висели над людьми, как приговор.

И впервые за много лет он почувствовал, что живёт.

Глава 2. Что означают числа

Первые три дня после именин Курочкин провёл в состоянии, которое сам себе затруднился бы описать. Он не был болен — во всяком случае, телесно. Он ел, спал, ходил на службу, отвечал на вопросы, даже пытался шутить с братьями Семёновыми, что вызывало у тех недоумение. Но всё это он делал как автомат, как человек, который выполняет заученные движения, а сам в это время находится где-то далеко — в другом мире, где над головами людей висят числа, и эти числа что-то значат.

Он не сказал никому. Даже сестре, которую навещал по воскресеньям. Даже Anne Сергеевне, с которой иногда перекидывался парой слов у книжной лавки. Даже в церковь не пошёл, хотя обычно заходил по субботам, ставил свечку и стоял у стены, слушая пение хора. Он боялся. Боялся, что если скажет вслух, то окончательно сойдёт с ума. Или того хуже — что его сочтут сумасшедшим и отправят в дом скорби, где он будет сидеть в палате с решётками на окнах и смотреть, как над санитарями и другими больными висят всё те же цифры, которые никто, кроме него, не видит.

По ночам он лежал без сна, глядя в потолок, и пытался убедить себя, что всё это ему кажется. Что это следствие переутомления, дурного питания, той проклятой настойки, в конце концов. Что если он перестанет думать об этом, если

заставит себя не смотреть, то цифры исчезнут. Он закрывал глаза, считал до тысячи, вспоминал таблицу умножения, молитвы, которые учил в детстве, — ничего не помогало. Стоило открыть глаза, и первое, что он видел, — собственное отражение в тёмном стекле окна и число 365 над ним.

Иногда он подходил к зеркалу и подолгу стоял перед ним, вглядываясь в собственное лицо. Лицо было прежнее: вытянутое, бледное, с впалыми щеками и глазами человека, который давно не высыпается. Ничего демонического, ничего пророческого. Обыкновенный чиновник, каких тысячи. И всё же над этим лицом висело число, которого не было ни у кого из его сослуживцев. У Барабанова — 28. У Козлова — 44. У Семёновых — 39 и 41. У самого Курочкина — 365.

— Почему у меня больше? — спрашивал он у зеркала. — Почему?

Зеркало молчало.

На четвёртый день он решил провести эксперимент. Не потому, что поверил окончательно, а потому, что не мог больше сидеть сложа руки. Если это правда — если числа действительно означают то, что он думает, — то он должен это доказать. Хотя бы самому себе.

Он вышел из дома рано утром, когда город только начинал просыпаться, и направился на Соборную площадь — туда, где всегда былолюдно. Там он сел на скамейку у ограды и принялся наблюдать.

Первым мимо него прошёл молодой человек в студенче-

ской тужурке, с книгой под мышкой. Над его головой висело 58. Курочкин проводил его взглядом: студент шёл быстро, уверенно, не оглядываясь. Пятьдесят восемь дней. Почти два месяца. Что может случиться с ним за два месяца? Болель? Несчастный случай? Или число означает что-то другое?

Следом прошла женщина с корзиной — торговка, судя по одежде. 12. Двенадцать дней. Она шла, переваливаясь с ноги на ногу, и что-то бормотала себе под нос. Курочкин смотрел на неё и чувствовал, как в груди поднимается тошнота. Двенадцать дней. Он знал это. Он знал, что через двенадцать дней эта женщина умрёт. И ничего не мог сделать.

— Не может быть, — прошептал он. — Я не могу знать. Это совпадение. Это...

Он замолчал. Потому что мимо прошёл мальчик — лет десяти, в рваной рубаше, босиком, — и над его головой висело 6. Шесть дней. Ребёнок. Шесть дней.

Курочкин встал со скамейки и пошёл прочь. Он не мог больше смотреть. Он шёл по улицам, не разбирая дороги, и цифры мелькали перед ним, как светлячки в темноте. 87, 45, 19, 73. Молодые и старые, богатые и бедные, мужчины и женщины. У каждого было своё число. У каждого был свой срок.

Он остановился у витрины аптеки — той самой, где немец-аптекарь готовил свои настойки, — и посмотрел на своё отражение. 365. Ровно год. Ни больше, ни меньше.

— Почему у меня год? — спросил он вслух. Прохожий, шедший мимо, обернулся и посмотрел на него с недоумением. Курочкин отвернулся и пошёл дальше.

Он начал вести записи. Втайне, ночами, при свете лампы, он заносил в тетрадь всё, что видел: дату, описание человека, число. Он не знал, зачем это делает. Может быть, чтобы доказать себе, что не сошёл с ума. Может быть, чтобы найти закономерность. Может быть просто потому, что не мог иначе.

Через неделю у него набралось больше сотни записей. Он разложил их на столе и принялся изучать. Числа варьировались от 1 до 90. Самые большие были у молодых — у студента 58, у молодой барышни, шедшей с зонтиком, 71, у мальчишки-газетчика 64. Самые маленькие — у стариков: у нищего на паперти 2, у старой купчихи, которую выводили под руки, 4.

Курочкин сопоставлял. Он записывал даты, когда видел людей, и потом пытался узнать, что с ними стало. Это было трудно: город был большой, а он — незаметный чиновник. Но он находил способы. Через знакомого почтальона, через приказчика в лавке, через городского, который любил поболтать. Он спрашивал осторожно, будто невзначай: «А что, Глафира Петровна, купчиха, всё болеет?» — и получал ответ: «Да, плоха. Говорят, не встаёт». Через четыре дня купчиха умерла.

Курочкин записал в тетради: «Глафира Петровна, купчи-

ха. Число — 4. Умерла через четыре дня. Подтверждено».

С каждым таким подтверждением ему становилось всё страшнее. Потому что это означало: он не сумасшедший. Он действительно видит то, что видит. И числа действительно означают то, что он думает.

Он стал бояться выходить на улицу. Каждый прохожий, каждый встречный был для него теперь не человеком, а ходячим приговором. Он смотрел на людей и видел не лица, а цифры. Молодой человек, спешащий на свидание, — 23. Старуха, покупающая хлеб, — 8. Девочка, играющая в куклы, — 56. Мальчик, бегущий за обручем, — 3.

Он не мог больше есть. Не мог спать. Он похудел, осунулся, под глазами появились тёмные круги. Барабанов заметил это и сказал:

— Курочкин, вы бы к доктору сходили. На вас лица нет.

— Ничего, Иван Петрович, — ответил Курочкин. — Пройдёт.

— То-то и оно, что не пройдёт, — проворчал Барабанов. — Пьёте, небось?

Курочкин не ответил. Он думал о другом. О том, что над Барабановым висело 28. Двадцать восемь дней. Меньше месяца. И Барабанов об этом не знал. Никто не знал. Только он, Курочкин, — и это знание давило на него, как камень, привязанный к шее.

Однажды вечером, возвращаясь со службы, Курочкин увидел старого купца по фамилии Спиридонов. Тот шёл по

тротуару, опираясь на палку, — грузный, с одышкой, с красным лицом. Курочкин знал его в лицо: Спиридонов владел лавкой на углу Соборной и Мясницкой, торговал железом и скобяным товаром. Над его головой висело 3.

Три дня.

Курочкин остановился как вкопанный. Он смотрел на купца и чувствовал, как сердце колотится в груди. Три дня. Этот человек умрёт через три дня. Он ещё не знает. Он идёт, дышит, смотрит по сторонам, думает о своих делах. А через три дня его не станет.

Курочкин мог бы подойти. Мог бы сказать: «Спиридонов, вам осталось три дня. Сходите к доктору. Помолитесь. Проститесь с близкими». Но что он скажет? Как объяснит? «Я вижу цифры над головами»? Его сочтут сумасшедшим. Его выгонят. Может быть, побьют.

Он ничего не сделал. Он стоял и смотрел, как купец идёт мимо, как он останавливается, чтобы отдышаться, как вытирает пот со лба, как сворачивает за угол. А потом пошёл домой.

Три дня он думал только об этом. Он не мог работать, не мог есть, не мог спать. Он ходил мимо лавки Спиридонова и смотрел в окно: купец сидел за прилавком, разговаривал с покупателями, считал выручку. Каждый раз, когда Курочкин видел его живым, он чувствовал странное облегчение. Может быть, числа не точны? Может быть, они означают что-то другое? Может быть, он ошибся?

На третий день, утром, он пришёл к лавке. Она была закрыта. У ворот стояла кучка людей, и все говорили шёпотом. — Что случилось? — спросил Курочкин у одного из них. — Спиридонов помер, — ответил тот. — Ночью. Сердце. Курочкин закрыл глаза. Он почувствовал, как земля уходит из-под ног. Он прислонился к стене, чтобы не упасть. — Вы чего, барин? — спросил мужик. — Плохо вам? — Нет, — сказал Курочкин. — Всё хорошо. Я просто... я знал его.

Он пошёл домой. Шёл медленно, не разбирая дороги, и слёзы текли по его лицу. Он не знал, почему плачет. Может быть, от жалости к купцу. Может быть, от страха. Может быть, от того, что понял: это не бред, не белая горячка, не последствие настойки. Это правда. Он действительно видит числа. И эти числа — сроки.

Дома он сел за стол, открыл тетрадь и записал: «Спиридонов, купец. Число — 3. Умер через три дня. Подтверждено».

Потом закрыл тетрадь, отложил её в сторону и долго сидел, глядя в окно. За окном шёл дождь. По улице шли люди, и над каждым висело число. Курочкин смотрел на них и понимал: теперь он не сможет жить как прежде. Он не сможет не видеть. Он не сможет не знать.

Он не спал всю ночь. Лежал на диване, смотрел в потолок и думал. Думал о том, что дар — если это можно назвать даром — не приносит счастья. Он приносит только боль. Потому что знать, когда умрёт человек, и не иметь возможно-

сти ничего изменить — это пытка. Это хуже, чем не знать. Это как смотреть, как человек тонет, и стоять на берегу с связанными руками.

Он думал о мальчике с обручем — том самом, над которым висело 3. Он видел его на улице два дня назад. Мальчик бежал, смеялся, махал палкой. А через три дня его не станет. И Курочкин ничего не может сделать. Ничего.

— Почему? — спрашивал он у темноты. — Зачем мне это? Что я должен делать?

Ответа не было. Только тишина, только дождь за окном, только цифры, которые продолжали висеть над людьми — даже во сне, даже в темноте, даже когда он закрывал глаза.

К утру он принял решение. Он не знал, правильное ли оно, не знал, к чему приведёт. Но он знал одно: он не может больше сидеть сложа руки. Он должен что-то делать. Хотя бы попытаться понять. Хотя бы попытаться помочь. Хотя бы попытаться.

Он встал, умылся, оделся и вышел на улицу. Был серый осенний день, моросил дождь. Курочкин шёл по улице и смотрел на людей. Над каждым висело число. У каждого был свой срок.

Он остановился у книжной лавки. В окне горел свет — тёплый, жёлтый, — и за прилавком стояла Анна Сергеевна Верещагина, молодая вдова, которая всегда приветливо кивала ему, когда он проходил мимо. Над её головой висело 112.

Курочкин смотрел на неё и чувствовал, как в груди что-то сжимается. Сто двенадцать дней. Чуть больше трёх месяцев. Он знал это. И она не знала.

Он толкнул дверь и вошёл.

— Пётр Иванович! — улыбнулась Анна Сергеевна. — Давно вас не видела. Что-то вы бледный. Не захворали?

Курочкин посмотрел на неё. На её лицо, на её улыбку, на её глаза. И понял, что не может сказать ей правду. Не сейчас. Может быть, никогда.

— Нет, — сказал он. — Просто... хотел спросить, нет ли у вас книг по... — он замялся, — по медицине. Или по... философии. Что-нибудь о жизни и смерти.

Анна Сергеевна посмотрела на него внимательно.

— О жизни и смерти? — переспросила она. — Странный выбор для коллежского регистратора.

— Да, — сказал Курочкин. — Странный.

Она пожала плечами и пошла к полкам.

— Есть Монтень, — сказала она. — «Опыты». Есть Шопенгауэр. Есть что-то из восточного — про карму и перерождение. Что вам ближе?

— Всё, — сказал Курочкин. — Дайте всё.

Анна Сергеевна обернулась и посмотрела на него с удивлением. Потом улыбнулась — тепло, по-доброму, как умела только она.

— Хорошо, — сказала она. — Возьмите Монтеня. Начните с него. А потом приходите, расскажете, что думаете.

Курочкин кивнул, взял книгу и вышел. На улице он остановился, прижал книгу к груди и посмотрел на своё отражение в витрине. 365. Год. У него был год, чтобы понять. Год, чтобы что-то изменить. Год, чтобы научиться жить с этим.

Он не знал, что будет дальше. Не знал, что ждёт его впереди. Но он знал одно: он больше не один. У него была книга. У него была Анна Сергеевна. У него был год.

И где-то в глубине души — там, где страх смешивался с надеждой, — он чувствовал, что это только начало.

Глава 3. Ночной гость

Это случилось в ночь на пятнадцатое октября — Курочкин запомнил дату, потому что с вечера у него разболелась голова, и он лёг раньше обычного, не зажигая лампы. Дождь барабанил по крыше, ветер выл в трубе, и в этой какофонии стихии ему слышались шаги. Он лежал на диване, укрывшись старым пальто вместо одеяла, и смотрел в потолок, где пятно от протечки в темноте казалось чёрной дырой. Мысли его были вязкими, тяжёлыми; он думал о мальчишке с обручем — том самом, над которым висело 3, — и о том, что сегодня видел его снова, живого и смеющегося, и что осталось, должно быть, два дня. Один. Может быть, уже меньше.

Он не заметил, как задремал. А когда очнулся, в комнате было темно, хоть глаз выколи, и кто-то сидел в кресле напротив дивана.

Курочкин не вскрикнул. Не вскочил. Он просто замер, чувствуя, как сердце подпрыгнуло и ухнуло куда-то вниз, а по спине пополз холод. В комнате пахло чем-то незнакомым — не табаком, не водкой, не дождём. Пахло сухими травами и воском, как в старой церкви, куда давно не заходили люди.

— Не бойтесь, — сказал незнакомец. Голос у него был тихий, ровный, без интонаций. — Я не причиню вам вреда. Я пришёл поговорить.

Курочкин сел на диване, нашарил на столе спички, за-

жёл лампу. Огонёк вспыхнул, задрожал, разгоняя темноту. В кресле сидел человек — немолодой, лет пятидесяти, в тёмном сюртуке, с седыми висками и лицом, которое невозможно было запомнить. Не потому, что оно было уродливым или пустым, — оно было обыкновенным. Настолько обыкновенным, что если бы Курочкин встретил его на улице, то через минуту уже не смог бы описать. Такие лица бывают у людей, которые умеют быть незаметными. Которые этим живут.

Над его головой висело 9.

Курочкин посмотрел на число — и отвёл взгляд. Он уже научился не пялиться. Уже научился делать вид, что не видит.

— Кто вы? — спросил он. — И как вошли?

— Дверь у вас не заперта, — сказал незнакомец. — А имя моё вам ничего не скажет. Можете называть меня Наблюдателем. Это не имя, это... должность, если угодно.

— Наблюдатель, — повторил Курочкин. — Чего?

— Вас, — сказал незнакомец и чуть наклонил голову. — И других. Таких, как вы.

Курочкин молчал. В голове у него проносились десятки мыслей, но ни одна не складывалась в связную картину. Он смотрел на незнакомца и ждал. Тот не торопился. Он сидел в кресле, положив руки на колени, и смотрел на Курочкина так, как смотрят на пациента — спокойно, внимательно, без жалости.

— Вы видите числа, — сказал Наблюдатель. — Над голо-

вами людей. Числа, которые означают срок. Дни, оставшиеся человеку до смерти. Не так ли?

Курочкин вздрогнул. Впервые кто-то произнёс это вслух. Впервые кто-то подтвердил то, о чём он боялся даже думать.

— Откуда вы знаете? — прошептал он.

— Потому что я вижу их тоже, — сказал Наблюдатель. — И потому что я видел, как они появились у вас. Двенадцатого сентября, на именинах у казначея. Вы выпили настойку, которую готовит немец-аптекарь. Мухоморы, спорынья, ещё какие-то травы. Это был катализатор. Не причина — катализатор. Система уже была в вас. Настойка только разбудила её.

— Система? — переспросил Курочкин. — Что это значит?

Наблюдатель помолчал. Он смотрел на лампу, на дрожащий огонёк, и в его лице что-то менялось — не эмоция, а тень эмоции, отблеск чего-то давнего, усталого.

— Это трудно объяснить, — сказал он наконец. — И ещё труднее понять. Но я попробую. Тысячи лет назад — может быть, больше, может быть, меньше, я не знаю точно — в мире существовал механизм. Не в том смысле, в каком вы думаете: не часы, не машина. Это была... сеть. Связь между всем живым и мёртвым, между прошлым и будущим, между людьми и событиями. Она была создана для того, чтобы мир держался. Чтобы хаос не поглотил всё. И в этой сети были узлы — люди, которые могли видеть. Видеть нити, соединя-

ющие одно с другим. Видеть числа. Видеть тени.

— Тени? — переспросил Курочкин.

— Следы эмоций, — сказал Наблюдатель. — То, что человек чувствует, оставляет след. Как запах. Как тепло. Вы пока не видите их. Но увидите. Это придёт. Система растёт.

Курочкин откинулся на спинку дивана. Он чувствовал, как всё внутри сжимается. Слова незнакомца были безумны — и в то же время слишком логичны, чтобы быть безумными.

— Почему я? — спросил он. — Я обыкновенный человек. Я никто. Я коллежский регистратор. Я...

— Именно поэтому, — перебил его Наблюдатель. — Система не выбирает великих. Не выбирает богатых. Не выбирает тех, кто у власти. Она выбирает обыкновенных. Тех, кто может быть незаметным. Тех, кто может ходить среди людей и не привлекать внимания. Потому что задача системы — не власть. Задача системы — равновесие. А равновесие держится на незаметных людях.

Он подался вперёд.

— Вы думаете, что это дар? — спросил он. — Вы думаете, что вам повезло? Нет, Пётр Иванович. Это не дар. Это тяжесть. Это ответственность. И это опасность.

— Опасность? — переспросил Курочкин.

— За такими, как вы, охотятся, — сказал Наблюдатель. — Всегда охотились. Потому что система — это сила. А сила притягивает тех, кто хочет её использовать. Для власти. Для

богатства. Для зла.

Он встал с кресла и подошёл к окну. За окном шёл дождь, и в стекле отражалась лампа, а за ней — темнота.

— Есть люди, — продолжил он тихо, — которые знают о системе. Они не видят чисел, как вы или я. Но они знают, что такие люди существуют. И они ищут их. Чтобы использовать. Чтобы заставить работать на себя. Или чтобы уничтожить — если не получится использовать.

Курочкин почувствовал, как холодок пробегает по спине.

— Кто они? — спросил он.

— Разные, — сказал Наблюдатель. — В этом городе тоже есть. Я не знаю точно кто. Но я знаю, что они здесь. Я чувствую их. Они пока не знают о вас. Но узнают. Рано или поздно. Потому что система растёт. И чем сильнее она становится, тем заметнее вы для тех, кто умеет искать.

Он обернулся и посмотрел на Курочкина.

— Вы должны быть осторожны, — сказал он. — Не показывать. Не хвастаться. Не пытаться спасти всех подряд. Если вы начнёте вмешиваться — менять числа, спасать людей — вас заметят. И тогда...

Он не договорил. Курочкин и так понял.

— Что мне делать? — спросил он. — Я не хочу этого. Я не просил. Я...

— Я знаю, — сказал Наблюдатель. — Никто не просит. Это всегда происходит случайно. Но теперь это часть вас. И вы не можете это выключить. Как не можете перестать ды-

шать.

Он снова сел в кресло.

— Вам нужно учиться, — сказал он. — Развивать систему. Понимать её. Я помогу вам — насколько смогу. Но я не всегда буду рядом. У меня свои дела. Свои... обязанности.

— Вы тоже видите числа? — спросил Курочкин. — У вас над головой... — он осёкся.

— Девять, — спокойно сказал Наблюдатель. — Я знаю. Девять дней. Может быть, меньше.

Курочкин замолчал. Он смотрел на человека, сидевшего перед ним, и не знал, что сказать. Девять дней. Этот человек умрёт через девять дней. И он знает об этом. И говорит об этом так же спокойно, как говорят о погоде.

— Вы... — начал Курочкин.

— Не жалейте меня, — сказал Наблюдатель. — Я прожил долгую жизнь. И я знал, на что шёл. Когда-то я был таким, как вы. Я тоже видел числа. Я тоже боялся. Но я научился. И вы научитесь.

Он встал.

— Мне пора, — сказал он. — Но перед тем, как уйти, я покажу вам кое-что. Первое, что вы должны освоить. Смотрите.

Он подошёл к Курочкину и положил руку ему на плечо. Курочкин вздрогнул: рука была холодной, как лёд.

— Закройте глаза, — сказал Наблюдатель.

Курочкин закрыл.

— Дышите ровно. Считайте до десяти. Медленно.

Курочкин считал. Один. Два. Три.

— Теперь откройте.

Курочкин открыл глаза — и задохнулся. Комната не изменилась. Лампа горела. Дождь стучал по стеклу. Но теперь Курочкин видел не только предметы. Он видел следы.

Вот у стола — слабое серое пятно, едва заметное, как выцветшая тень. Здесь он сидел вчера, читал Монтеня, думал о числах. Вот у окна — тёмно-синий сгусток, тяжёлый, давящий. Здесь он стоял позавчера, смотрел на улицу, боялся выходить. Вот у дивана — жёлтое, тёплое, почти светящееся. Здесь он спал. Здесь ему было спокойно.

— Что это? — прошептал Курочкин.

— Следы, — сказал Наблюдатель. — Следы ваших эмоций. Вашего страха, вашей тоски, вашего покоя. Всё, что вы чувствуете, оставляет след. Всё, что чувствуют другие, — тоже. Вы пока видите только свои. Скоро начнёте видеть чужие. Это и есть тени.

Курочкин смотрел на комнату, которая вдруг стала незнакомой, полной призрачных пятен и сгустков. Он видел свою жизнь — разлитую по углам, растёкшуюся по стенам. Видел свой страх — тёмно-синий, у окна. Видел свою тоску — серую, у стола. Видел своё одиночество — бледное, почти прозрачное, повсюду.

— Это... — он не находил слов. — Это ужасно.

— Это правда, — сказал Наблюдатель. — Вы всегда это

чувствовали. Просто не видели. Теперь видите. И это только начало. Дальше вы научитесь видеть тени других людей. Их страх, их радость, их ложь. Вы будете знать, кто вам врёт. Кто боится. Кто любит. Кто ненавидит. Это оружие, Пётр Иванович. И одновременно — проклятие. Потому что видеть правду о людях — не всегда приятно.

Он убрал руку с плеча Курочкина. Тени померкли, но не исчезли — остались на периферии зрения, как отблеск свечи после того, как свечу задули.

— Я ухожу, — сказал Наблюдатель. — Но я вернусь. Через несколько дней. Если буду жив. — Он усмехнулся, и это была первая эмоция на его лице. — В моём случае это не пустые слова.

Он пошёл к двери. Курочкин вскочил.

— Пойдите! — крикнул он. — Я не понимаю! Что мне делать? Как жить? Как...

Наблюдатель обернулся. В его глазах было что-то — не жалость, не насмешка. Понимание.

— Живите, — сказал он. — Просто живите. И учитесь. Каждый день. Каждый час. Система будет расти. Вы будете меняться. Это неизбежно. Главное — не потерять себя. Не стать тем, кем вас хотят сделать. Оставайтесь собой. Обыкновенным человеком. Коллежским регистратором. Петром Ивановичем Курочкиным. Это ваша сила. Не забывайте.

Он открыл дверь. В коридоре было темно.

— И ещё одно, — сказал он, обернувшись в последний

раз. — Не пытайтесь спасти всех. Вы не сможете. Вы будете знать, когда человек умрёт, и вы не сможете это изменить. Это самое трудное. Но вы должны научиться. Иначе сойдёте с ума.

Он шагнул в темноту и исчез. Дверь закрылась сама собой — тихо, без скрипа.

Курочкин остался один. Он стоял посреди комнаты, смотрел на дверь и чувствовал, как в груди что-то сжимается — медленно, мучительно. Он больше не был один. Но одиночество, которое он чувствовал теперь, было другим. Это было одиночество человека, который знает то, чего не знают другие. Который видит то, чего не видят другие. Который несёт в себе то, что нельзя разделить.

Он подошёл к окну. За стеклом — тёмная улица, мокрые крыши, редкие огни. И тени. Он видел их теперь — слабые, едва заметные, но они были. Вон там, у фонаря, — серая тень чьего-то страха. Вон там, у ворот, — жёлтая тень чьей-то радости. Вон там, в переулке, — чёрная тень чьей-то злобы.

Мир был полон теней. И он, Пётр Иванович Курочкин, коллежский регистратор четырнадцатого класса, теперь видел их все.

Он закрыл глаза. Потом открыл. Тени не исчезли. Числа не исчезли. Ничего не исчезло.

— Господи, — прошептал он. — Дай мне силы.

За окном шёл дождь. Ветер выл в трубе. А где-то в темноте, в лабиринте улиц, шёл человек с числом 9 над головой

— и уходил всё дальше, оставляя за собой слабый след сухих трав и воска.

Курочкин смотрел ему вслед, пока не перестал различать тени. Потом запер дверь — на этот раз действительно запер, — лёг на диван и закрыл глаза.

Он не спал. Он думал. О системе. О тенях. О числах. О человеке, который придёт через девять дней — или не придёт. О том, что теперь он не один. И о том, что теперь он в опасности.

А под утро, когда дождь стих и небо начало светлеть, он понял ещё одну вещь. Ту, которую Наблюдатель не сказал, но которую он почувствовал сам.

Он больше не боялся. Не так, как раньше. Страх остался — но теперь у него была цель. Понять. Научиться. Выжить.

И, может быть — только может быть, — помочь кому-то. Хотя бы одному человеку. Хотя бы раз.

Он встал, умылся, оделся и вышел на улицу. Над его головой висело 365. Но он больше не смотрел на это число.

Он смотрел на тени.

Глава 4. Проблема, которую нужно решить

После ухода Наблюдателя прошло четыре дня. Курочкин считал их — не потому, что хотел, а потому, что не мог не считать. Он просыпался с мыслью: «Осталось пять». Ложился спать с мыслью: «Осталось четыре». На службе, переписывая бумаги, он ловил себя на том, что вместо цифр недоимок выводит на полях числа: 9, 8, 7. Барабанов дважды делал ему замечание — «Курочкин, вы что, считать разучились?» — и Курочкин извинялся, краснел, переписывал лист заново.

Он не знал, где живёт Наблюдатель. Не знал, как его найти. Тот появился из темноты и ушёл в темноту, оставив после себя запах сухих трав и воска да смутное ощущение, что всё это было не совсем наяву. Иногда Курочкину казалось, что незнакомец ему просто привиделся — слишком уж нелепо, слишком уж неправдоподобно звучали его слова. Но тени остались. Тени были реальны. Курочкин видел их повсюду: в канцелярии, на улице, дома. Слабые серые пятна у стола Барабанова — следы раздражения и усталости. Тёмно-красные сгустки у стола Козлова — следы зависти и честолубия. Бледно-голубые, почти нежные тени у стола братьев Семёновых — следы тихой, безнадежной тоски.

Он научился читать их — медленно, неуверенно, но всё лучше. И это знание давило на него. Он видел людей насквозь, и то, что он видел, не всегда было приятным. Он видел страх там, где ожидал увидеть уверенность. Видел злобу там, где привык видеть добродушие. Видел ложь там, где раньше не сомневался в правде.

«Это оружие, — сказал тогда Наблюдатель. — И одновременно проклятие». Курочкин начинал понимать, что тот имел в виду.

Открытие случилось на пятый день — обыкновенно, почти буднично, как случаются все великие и страшные вещи.

Курочкин возвращался со службы. Был серый петербургский — то есть, простите, уездный, — вечер: морось, слякоть, редкие фонари, дрожащие в лужах. Он шёл по набережной, вдоль реки, потому что дорога была короче, хотя и грязнее. На реке стояли баржи, приткнувшиеся к берегу; вода была чёрной, тяжёлой, с маслянистыми пятнами у причалов.

На набережной играли дети. Курочкин не обратил на них внимания — он думал о Наблюдателе, о тенях, о том, что сегодня, кажется, восьмой день, а может, уже девятый, и что человека с числом 9 он больше не видел, и что, вероятно, тот уже возможно помер и его нет, не надо об этом.

Он почти прошёл мимо, когда услышал крик.

Крик был короткий, отчаянный, детский. Курочкин обернулся. У края набережной, там, где доски настила прогнили

и провалились, стояли трое мальчишек, а четвёртого не было. Четвёртый был в воде. Он барахтался, хватал ртом воздух, пытался ухватиться за скользкие сваи — и не мог. Течение в этом месте было быстрым, холодным, осенним; вода тянула вниз, к баржам, под тёмные днища.

Мальчишки на берегу кричали, но не двигались. Они были детьми. Они боялись.

Курочкин не думал. Он даже не помнил потом, как это произошло. Он сбросил пальто — кажется, сбросил, во всяком случае, потом пальто нашли на настиле, — и прыгнул.

Вода обожгла. Она была ледяной, как лезвие, и сразу набилась в сапоги, в штаны, за воротник. Курочкин вынырнул, глотнул воздуха, увидел мальчика — тот уже ушёл под воду с головой, осталась только рука, белая, тонкая, хватающая воздух. Курочкин рванулся к нему. Течение снесло его вбок, он ударился плечом о сваю, но не почувствовал боли. Он дотянулся. Схватил руку — маленькую, скользкую, холодную. Потянул на себя.

Мальчик был тяжёлый — тяжелее, чем казался. Одежда набухла, тянула вниз, и Курочкин чувствовал, что сам уходит под воду. Он рванулся из последних сил, ухватился за какую-то верёвку, свисавшую с баржи, — и вытащил. Вытащил мальчика на настил, на мокрые доски, где уже столпились люди, где кто-то кричал, где кто-то бежал за доктором.

Мальчик не дышал.

Курочкин стоял на коленях рядом с ним, мокрый, дрожа-

щий, и смотрел на маленькое посиневшее лицо. Он не знал, что делать. Он никогда не учился спасать утопающих. Он просто перевернул мальчика на живот, надавил на спину — раз, другой, — и изо рта мальчика хлынула вода. Потом ещё. Потом мальчик кашлянул, хрипло, страшно, и задышал.

Курочкин откинулся на пятки. Руки у него тряслись. Он смотрел на мальчика — на то, как грудь поднимается и опускается, как возвращается жизнь в маленькое тело, — и чувствовал, как что-то в груди разжимается. Что-то, что сжималось там с той самой ночи, когда он впервые увидел числа.

И тогда он увидел это.

Над головой мальчика висело число. Раньше оно было 1. Курочкин заметил это ещё до прыжка — краем глаза, машинально, как замечал теперь всё. 1. Один день. Мальчик должен был умереть сегодня. Утонуть в чёрной осенней воде, и всё. И ничего нельзя было сделать.

Теперь над его головой висело 64.

Курочкин замер. Он смотрел на число и не верил своим глазам. 64. Не 1. Не 2. 64. Шестьдесят четыре дня. Два месяца с лишним. Мальчик, который должен был умереть сегодня, теперь должен был жить до зимы, до января, может быть, до весны.

Курочкин смотрел на него, и в голове у него билась одна мысль, простая, невозможная, невероятная: «Я изменил число. Я изменил его. Оно было 1, а стало 64. Я сделал это».

Он не знал, как. Не знал, почему. Но он знал, что это сде-

лал он. Потому что он прыгнул. Потому что он хотел спасти. Потому что он — впервые за много дней — почувствовал не страх, не тоску, не бессилие, а что-то другое. Что-то, похожее на ярость. На упрямство. На желание.

«Система реагирует на эмоции и намерения», — сказал тогда Наблюдатель. Курочкин не понял этих слов. Теперь — понял.

Он сидел на мокрых досках, дрожал от холода, и смотрел на мальчика, которого вытащил. Мальчик кашлял, плакал, звал маму. Кто-то накинул Курочкину на плечи тулуп. Кто-то спрашивал, не надо ли доктора. Курочкин не отвечал. Он смотрел на число 64 — и не мог отвести глаз.

Он спас. Он изменил. Он сделал то, чего, по словам Наблюдателя, делать не следовало. Он вмешался.

И ничего страшного не произошло. Мир не перевернулся. Небо не упало на землю. Мальчик дышал. Мальчик был жив. Мальчик будет жить — ещё шестьдесят четыре дня, а может, и больше, потому что число могло измениться снова, потому что жизнь — это не прямая линия, потому что...

Курочкин встал. Его трясло. Кто-то из толпы — борода-тый мужик в армяке — сказал:

— Барин, вы бы домой шли. Простынете.

— Да, — сказал Курочкин. — Да, я пойду.

Он поднял пальто с настила — мокрое, тяжёлое, — накинул на плечи и пошёл. Шёл, не разбирая дороги, и в голове у него бились мысли: «Я могу. Я действительно могу. Я могу

менять числа. Я могу спасти. Я могу...»

Он остановился. Потому что следующая мысль была страшной.

«Я могу не только продлевать. Я могу и сокращать».

Он замер посреди улицы. Мимо шли люди, шлёпали по лужам, ругались, смеялись. А он стоял и смотрел в темноту, и понимал, что открыл не только светлую сторону. Если система реагирует на эмоции и намерения — а она реагирует, он это только что видел, — то, что будет, если он разозлится? Если он захочет зла? Если он возненавидит кого-то настолько, что пожелает ему смерти?

Число уменьшится. Человек умрёт. И это будет его вина.

Он вспомнил Барабанова — вечно недовольного, вечно брюзжащего Барабанова, который дважды сегодня отругал его за нерадивость. Курочкин почувствовал, как в груди поднимается волна раздражения — горячая, острая. И тут же, как по команде, он увидел краем глаза: над головой Барабанова, там, где ещё вчера висело 28, теперь стояло 27.

Одно число. Один день. Всего лишь раздражение. Всего лишь мимолётная злая мысль.

Курочкин сжал кулаки. Ногти впились в ладони. Он стоял посреди улицы, мокрый, замёрзший, и с ужасом понимал: он — оружие. Он сам — оружие, которое может убивать. Не желая того. Не думая. Просто чувствуя.

Дома он не стал пить чай, не стал переодеваться. Он сел за стол, зажёл лампу и уставился на свои руки. Руки как ру-

ки: бледные, с длинными пальцами, с чернильным пятном на среднем пальце правой. Обыкновенные руки. Руки чиновника. Руки человека, который всю жизнь переписывал бумаги и не сделал никому ни зла, ни добра.

Теперь эти руки могли убивать. Или спасать. Или то и другое — в зависимости от того, что он чувствует.

— Господи, — прошептал Курочкин. — Что мне делать?

Он думал о мальчике. О маленьком, посиневшем лице. О том, как он кашлял, как дышал, как плакал. Если бы он, Курочкин, не прыгнул — мальчик был бы мёртв. И ничего бы не случилось. Мир бы не заметил. Река бы унесла тело, мать бы поплакала, и всё. А теперь мальчик жив. Теперь он будет расти. Может быть, станет хорошим человеком. Может быть, сделает что-то важное. Может быть, спасёт кого-то ещё.

А если бы Курочкин не сдержался? Если бы он позволил себе ненавидеть? Если бы он пожелал смерти Барабанову — не всерьёз, не по-настоящему, просто разозлился? Что тогда? Число уменьшилось бы. Барабанов умер бы. И никто бы не узнал. Никто бы не догадался. Курочкин ходил бы на службу, сидел бы за столом, переписывал бумаги, и никто бы не знал, что он — убийца.

Он закрыл лицо руками. Так он сидел долго — может быть, час, может быть, два. За окном стемнело, потом посветлело — луна вышла из-за туч, — потом снова стемнело. Курочкин не двигался. Он думал.

Он думал о том, что дар — если это дар — не приносит

счастья. Он приносит выбор. И этот выбор страшнее всего, что он знал раньше. Потому что раньше он был никем. Он не мог ни спасти, ни убить. Он просто жил, и жизнь шла мимо него. Теперь жизнь была в его руках — чужая жизнь, чужая смерть. И он не знал, что с этим делать.

К утру он принял решение. Оно было простым, но твёрдым, как камень.

Он не будет вмешиваться. Он не будет спасать всех подряд. Он не будет продлевать числа направо и налево. Потому что он не Бог. Потому что он не знает, что будет потом. Потому что каждое вмешательство — это цепочка последствий, которую он не может предвидеть.

Но он и не будет сокращать. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Даже если разозлится. Даже если возненавидит. Даже если кто-то сделает ему зло. Он будет контролировать себя. Он будет следить за своими эмоциями. Он будет...

Он остановился. Потому что понял: это невозможно. Нельзя контролировать эмоции. Нельзя запретить себе чувствовать. А значит, нельзя гарантировать, что однажды — случайно, в гневе, в отчаянии — он не пожелает кому-то смерти. И тогда...

— Нет, — сказал он вслух. — Я справлюсь. Я буду следить. Я буду помнить. Я не позволю себе.

Он встал, умылся, оделся. Надел чистую рубашку — единственную, которую постирал на прошлой неделе. Причесался. Посмотрел на себя в зеркало. 365. Год. У него был год,

чтобы научиться. Год, чтобы понять. Год, чтобы стать тем, кем он должен стать.

Он вышел на улицу. Был серый осенний день. Морось. Слякоть. Люди шли по своим делам, и над каждым висело число. Курочкин смотрел на них — и впервые за много дней не чувствовал ужаса. Он чувствовал ответственность. Тяжёлую, как камень. Но всё же — ответственность.

Он шёл на службу и думал о мальчике. О том, что где-то в этом городе живёт теперь человек, который должен был умереть, но не умер. Потому что Курочкин прыгнул в воду. Потому что Курочкин захотел спасти. Потому что система — эта странная, страшная система — отозвалась на его желание.

Он думал о том, что, может быть, это и есть ответ. Не спасать всех. Не вмешиваться постоянно. Но быть готовым. Быть тем, кто может. Быть тем, кто хочет. И тогда — в нужный момент, в правильный момент — система отзовётся.

Он думал о тенях. О числах. О Наблюдателе. О том, что где-то в этом городе есть люди, которые охотятся за такими, как он. И что однажды они придут.

Он остановился у дверей канцелярии. Вдохнул воздух — холодный, сырой, с запахом дыма и мокрой шерсти. И вошёл.

Барабанов сидел за столом, красный, сердитый, с одышкой. Над его головой висело 27.

Курочкин посмотрел на него — и улыбнулся.

— Доброе утро, Иван Петрович, — сказал он. — Как здоровье?

Барабанов поднял на него глаза и что-то проворчал. Но Курочкин не слушал. Он смотрел на число 27 и думал: «Я не трону тебя. Никогда. Что бы ты ни делал. Я не трону».

Он сел за свой стол, взял перо, обмакнул в чернильницу. И начал работать. Как обыкновенный человек. Как коллежский регистратор. Как Пётр Иванович Курочкин.

Но где-то в глубине, под этой обыкновенностью, что-то росло. Что-то, что он пока не понимал. Что-то, что однажды должно было проявиться.

Система.

Глава 5. Подруга

Анна Сергеевна Верещагина появилась в жизни Курочкина задолго до того, как он узнал её имя. Это было ещё в те времена, когда он ходил по улицам, не поднимая глаз, и мир казался ему серым, как мундир столоначальника Барабанова. Книжная лавка на углу Соборной и Мясницкой стояла там, сколько он себя помнил: узкая, с высокими окнами, с вывеской, на которой выцветшими буквами было написано «Книги. Верещагин». Старик Верещагин, отец Анны Сергеевны, был человеком известным в городе — из тех, кто читал всё, что попадало под руку, и любил поговорить о прочитанном с каждым, кто заходил. Курочкин заходил редко — денег на книги не было, — но иногда, по дороге со службы, останавливался у витрины и смотрел на корешки, выставленные в ряд: Пушкин, Гоголь, Тургенев, что-то из французского, что-то из немецкого. Он не читал этих книг. Он просто смотрел на них, как смотрят на чужую жизнь — красивую, недоступную, полную смысла.

Старик Верещагин умер четыре года назад — тихо, во сне, как умирают люди, которые прожили жизнь правильно и никому не сделали зла. Лавку унаследовала дочь. Курочкин знал об этом краем уха: кто-то в канцелярии сказал, что «Верещагина теперь сама торгует», и кто-то другой добавил, что «молодая, а уже вдова». Подробностей он не знал. Ему

было не до того.

Он не заметил, как она появилась за прилавком. Просто однажды, проходя мимо, он увидел в окне не сгорбленную фигуру старика, а молодую женщину — невысокую, в тёмном платье, с гладко зачёсанными волосами и лицом, которое нельзя было назвать красивым, но которое запоминалось. Не из-за черт — черты были обыкновенные, — а из-за выражения. В нём было что-то спокойное и внимательное, как у человека, который привык слушать и не перебивать. Курочкин тогда подумал: «Хорошее лицо» — и пошёл дальше. Через неделю он снова прошёл мимо. Через месяц — ещё раз. И каждый раз он видел её за прилавком: она читала, или раскладывала книги, или разговаривала с покупателями — тихо, негромко, без той суетливой приветливости, которая так раздражала Курочкина в других торговцах.

Он не знал, почему начал заходить. Может быть, потому что устал бояться. Может быть, потому что ему нужно было с кем-то поговорить — хоть с кем-нибудь, — а Анна Сергеевна казалась человеком, который умеет слушать. Может быть просто потому, что книжная лавка была единственным местом в городе, где он чувствовал себя не совсем чужим.

В тот день, когда он вошёл в первый раз, он ещё не знал, что она станет его подругой. Он вообще ничего не знал. Он просто толкнул дверь — и вошёл.

Звонок над дверью дзинькнул, и Анна Сергеевна подняла голову. Она сидела за прилавком с книгой в руках — кажет-

ся, это был том Мопассана, — и на её лице не было ни удивления, ни настороженности. Просто спокойное внимание.

— Добрый день, — сказала она. — Ищете что-то конкретное?

Курочкин замялся. Он не знал, что сказать. Он вошёл без цели, без плана просто потому, что не мог больше идти мимо.

— Нет, — сказал он. — То есть... я хотел посмотреть. Если можно.

— Конечно, можно, — сказала она. — Смотрите. Если что-то понадобится — я здесь.

Она вернулась к книге. Курочкин остался стоять у полок, чувствуя себя неловко и неуместно. Он водил пальцами по корешкам, вытаскивал книги, открывал, закрывал, ставил на место. В лавке пахло бумагой, пылью и чем-то ещё — сухими травами, что ли? — и этот запах был странно успокаивающим. Курочкин поймал себя на том, что дышит глубже, чем обычно.

— Вы часто проходите мимо, — сказала вдруг Анна Сергеевна, не поднимая глаз от книги. — Я вас вижу из окна. Каждый день, примерно в пять.

Курочкин вздрогнул.

— Я... да, — сказал он. — Я иду со службы.

— Из казначейства, — сказала она. — Я знаю. Вы служите в недоимочном отделении. У Барабанова.

Курочкин уставился на неё.

— Откуда вы...

— Город маленький, — сказала Анна Сергеевна и наконец подняла глаза. Они были серые, спокойные, чуть насмешливые. — Здесь все всех знают. Даже коллежских регистраторов, которые ходят мимо и не заходят.

Курочкин почувствовал, как краснеет. Он не привык, чтобы его замечали. Он привык быть невидимым.

— Простите, — сказал он. — Я не хотел...

— Ничего, — сказала она. — Я не в обиде. Просто наблюдаю. Это моя работа — наблюдать. Я торгую книгами, а книги — это люди. Кто что читает, тот такой и есть.

Она отложила Мопассана и встала.

— Вам что-нибудь подсказать? — спросила она. — Вы в последнее время какой-то... не такой.

Курочкин замер.

— Не такой? — переспросил он.

— Бледный, — сказала Анна Сергеевна. — Худеете. Глаза бегают. Я думала сначала, что вы больны. Но потом решила, что нет.

— Почему нет?

— Больные люди не смотрят на людей так, как вы, — сказала она. — Вы смотрите так, будто видите что-то, чего не видят другие.

Курочкин почувствовал, как земля уходит из-под ног. Он стоял в книжной лавке, среди полок с книгами, и смотрел на молодую женщину, которая — он был уверен — только что

заглянула ему в самую душу.

— Я... — начал он.

— Не надо, — сказала Анна Сергеевна. — Не объясняйте. Я не спрашиваю. Я просто говорю, что вижу. Если захотите рассказать — расскажете. Если нет — тоже хорошо. Книги, знаете ли, не только продают. Иногда они слушают.

Она вернулась за прилавок и снова взяла Мопассана. Курочкин постоял ещё минуту, потом кивнул — сам не зная кому, — и вышел.

На улице он остановился и прислонился к стене. Сердце колотилось. В голове шумело. Он не знал, что произошло. Но он знал, что впервые за много дней — может быть, месяцев — кто-то увидел его. Не прошёл мимо. Не отвернулся. Увидел.

Он вернулся домой и до ночи просидел у окна, глядя на улицу. А утром, идя на службу, снова зашёл в лавку. И на следующий день. И через день.

Так началось.

Анна Сергеевна не спрашивала. Она просто была рядом. Она не лезла в душу, не требовала объяснений, не задавала неудобных вопросов. Она просто разговаривала — о книгах, о погоде, о городских новостях. Иногда они пили чай в подсобке — крошечной комнатке, заставленной коробками, с одним окном и старой керосинкой. Анна Сергеевна заваривала чай с травами — сама собирала, где-то за городом, — и от этого чая Курочкину становилось легче. Не потому, что

травы были целебные, а потому, что впервые за долгое время он сидел в тёплом месте, с человеком, который не смотрел на него как на пустое место.

Он начал рассказывать. Сначала — по мелочам. О службе, о Барабанове, о братьях Семёновых. Потом — о себе. О том, что жизнь его пуста и бессмысленна, что он не помнит, когда в последний раз смеялся, что ему кажется, будто он и не жил никогда. Анна Сергеевна слушала. Не перебивала. Иногда кивала. Иногда говорила что-то короткое, простое: «Бывает», «Я понимаю», «И у меня так было».

Она рассказала ему о себе. О том, как вышла замуж в девятнадцать — по любви, как ей казалось, — и как через год муж умер от тифа. О том, как осталась одна с лавкой и долгами. О том, как научилась жить без надежды на чужую помощь. О том, что книги стали её убежищем — единственным местом, где можно было забыться.

— Я тоже иногда думаю, что не живу, — сказала она однажды. — А потом смотрю на полки и понимаю: вот они, люди. Все, кто писал эти книги. Они умерли, но оставили что-то. Слова. Мысли. Часть себя. И если я могу это сохранить, передать кому-то ещё — значит, и я не зря.

Курочкин смотрел на неё и думал: «Она понимает. Она действительно понимает». И в груди у него что-то теплело — медленно, робко, как первый огонёк в холодной печи.

Прошло две недели. Курочкин приходил почти каждый день. Он уже не чувствовал себя неловко. Он просто входил,

кивал, садился в углу с книгой — и читал. Или не читал, а смотрел на Анну Сергеевну, которая разбирала новые поступления, составляла каталог, разговаривала с покупателями. Ему нравилось просто быть здесь. Нравилось, что его не гонят. Нравилось, что кто-то — впервые за долгое время — ждёт его прихода.

Анна Сергеевна, в свою очередь, наблюдала. Она видела, как он меняется: как уходит из глаз затравленное выражение, как разглаживаются морщины на лбу, как он начинает улыбаться — редко, неуверенно, но всё же. Она видела и другое: как он иногда замирает, глядя на кого-то из покупателей, как бледнеет, как сжимает руки в кулаки. Она не спрашивала. Она ждала.

И однажды он рассказал.

Это случилось в конце октября, вечером, когда лавка уже закрылась. Они сидели в подсобке, пили чай, и за окном шёл дождь. Курочкин молчал долго — минут десять, может, больше. Анна Сергеевна не торопила. Она просто сидела и смотрела на огонёк керосинки.

— Анна Сергеевна, — сказал он наконец. — Я должен вам кое-что сказать. Я не знаю, поверите ли вы мне. Я не знаю, не сочтёте ли вы меня сумасшедшим. Но я больше не могу молчать. Потому что... потому что вы единственный человек, которому я могу сказать.

Она подняла на него глаза.

— Говорите, — сказала она. — Я слушаю.

И он рассказал. Всё. О настойке на именинах. О цифрах. О старике, который умер через три дня. О мальчике, которого он спас. О Наблюдателе. О тенях. О том, что он видит — каждый день, каждый час, — как над головами людей висят числа, и эти числа означают срок. О том, что он может менять их — продлевать или сокращать. О том, что боится себя. О том, что не знает, что делать.

Он говорил долго. Иногда сбивался, иногда замолкал, иногда вставал и ходил по комнате. Анна Сергеевна не перебивала. Она слушала — так, как умела только она: спокойно, внимательно, без недоверия и без жалости.

Когда он закончил, в комнате стало тихо. Только дождь стучал по стеклу, да керосинка потрескивала.

— Я знаю, что это звучит безумно, — сказал Курочкин. — Я знаю. Но это правда. Я...

— Я верю вам, — сказала Анна Сергеевна.

Курочкин замер.

— Что? — переспросил он. — Вы... верите?

— Да, — сказала она. — Верю.

Она встала, подошла к полке, сняла с неё старую книгу — толстую, в потёртом кожаном переплёте, — и положила на стол перед Курочкиным.

— Я кое-что покажу вам, — сказала она. — Я нашла это неделю назад. Среди книг отца. Он собирал всё, что касалось... странного. Необычного. Он называл это «тайными знаниями». Я не верила. Думала, что это просто старые сказ-

ки. Но теперь...

Она открыла книгу. На форзаце, выцветшими чернилами, было написано: «О видящих и о том, что они видят».

Курочкин читал всю ночь. Анна Сергеевна сидела рядом, иногда заглядывая через его плечо, иногда вставая, чтобы подлить чаю. Книга была старая — вероятно, восемнадцатого века, а может, и раньше, — и написана была странным, тяжёлым языком, с множеством латинских вставок и отсылок к каким-то древним источникам. Но суть была ясна.

«Видящие, — говорилось в книге, — суть люди, в которых пробудилась Система. Система сия не есть сила человеческая, но часть порядка мирового. Она связует всё живое и мёртвое, прошлое и будущее, причину и следствие. Видящий может зреть числа — сроки жизни — и тени — следы страстей. Может он и влиять на числа, но не должно ему творить сие без нужды великой, ибо всякое вмешательство нарушает равновесие и влечёт последствия неведомые».

Курочкин читал и чувствовал, как что-то внутри него — то, что он гнал от себя все эти недели, — наконец находит имя. Он не сумасшедший. Он не один. Такие люди были. Такие люди есть. И, может быть, будут.

«Видящих немного, — продолжала книга. — Ибо Система пробуждается редко, и не всякий, в ком она пробудилась, способен её вынести. Многие сходят с ума. Многие гибнут. Многие становятся слугами тьмы, ибо власть над жизнью и смертью развращает слабых. Но есть и те, кто хранит равно-

весие. Их ищут. Их боятся. Их убивают. Но без них мир давно бы пал».

Анна Сергеевна сидела напротив, и на её лице было выражение, которое Курочкин не мог прочесть.

— Значит, это правда, — сказал он. — Всё, что сказал Наблюдатель. Правда.

— Похоже на то, — сказала Анна Сергеевна. — Но здесь есть ещё кое-что. — Она перелистнула несколько страниц. — Слушайте. «Видящий не одинок в мире. Есть те, кто знает о нём. Есть те, кто ищет его. Есть те, кто помогает ему. И есть те, кто охотится. Охотники не видят чисел, но чувствуют Систему, как псы чувствуют дичь. Они служат тем, кто хочет использовать Видящих для своих целей. Они не остановятся ни перед чем. И потому Видящий должен быть осторожен. Он должен скрываться. Он должен найти тех, кто поможет ему. Ибо в одиночку он погибнет».

Курочкин закрыл книгу. Руки у него дрожали.

— Я не один, — сказал он. — У меня есть вы.

Анна Сергеевна посмотрела на него. Долго. Серьёзно.

— Да, — сказала она. — У вас есть я, и я не брошу вас. Что бы ни случилось.

Она протянула руку и накрыла его ладонь своей. Рука была тёплая, сухая, спокойная. Курочкин почувствовал, как что-то в груди разжимается — то, что сжималось там с самого начала, с той ночи на именинах, с того момента, когда он впервые увидел цифры. Он не был один. Он больше не

был один.

— Спасибо, — прошептал он. — Анна Сергеевна...

— Анна, — сказала она. — Просто Анна.

Он кивнул. В горле стоял ком. Он не мог говорить.

За окном светало. Дождь кончился. Где-то на улице закричал петух, потом застучали колёса — поехала первая телега. Город просыпался.

А в маленькой подсобке книжной лавки сидели двое: коллежский регистратор Пётр Иванович Курочкин и молодая вдова Анна Сергеевна Верещагина. И между ними лежала старая книга — книга о видящих, о системе, о том, что ждёт их впереди.

Курочкин смотрел на Анну и думал: «Она верит мне. Она не боится. Она останется». И впервые за много недель — может быть, месяцев, может быть, лет — он почувствовал, что у него есть надежда.

Не на спасение. Не на избавление от дара. А на то, что он справится. Потому что он не один.

Они просидели до утра, листая книгу, обсуждая каждую строчку. Анна Сергеевна делала пометки в тетради — аккуратно, каллиграфическим почерком, — а Курочкин читал вслух, спотыкаясь на незнакомых словах. Книга была не только о видящих. В ней были и другие вещи: описания ритуалов, которых Курочкин не понимал; упоминания о каких-то «узлах» и «нитях»; предупреждения о «тьме, что идёт следом». Но главное было ясно.

Видящие существовали всегда. Система пробуждалась в них — случайно, как у Курочкина, или намеренно, через долгие тренировки, как у некоторых других. Видящие могли видеть числа и тени. Могли влиять на числа. Но каждое вмешательство имело последствия — иногда малые, иногда огромные. И за каждым видящим следили. Одни — чтобы помочь. Другие — чтобы использовать. Третьи — чтобы убить.

— Здесь написано, что у видящего есть... — Анна Сергеевна замялась, — есть «срок». Число, которое он видит над собой. И если он использует систему во зло, срок сокращается. Если во благо — растёт.

Курочкин вспомнил своё число. 365. Год. Он не знал, много это или мало. Не знал, растёт оно или сокращается. Но он знал, что теперь у него есть ориентир.

— Значит, я могу жить дольше, — сказал он. — Если буду делать добро.

— Или умереть раньше, — сказала Анна Сергеевна. — Если будешь делать зло.

Она посмотрела на него внимательно.

— Что ты собираешься делать, Пётр? — спросила она. — Теперь, когда знаешь?

Курочкин молчал. Он смотрел на книгу, на выцветшие страницы, на латинские буквы, которые ничего ему не говорили. Потом поднял глаза.

— Я не знаю, — сказал он честно. — Я не знаю, что делать.

Но я знаю, чего не делать. Я не буду использовать это во зло. Никогда. Что бы ни случилось.

Анна Сергеевна кивнула.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда начнём с малого. Будем учиться. Читать. Наблюдать. Искать других. Может быть, Наблюдатель вернётся. Может быть, мы найдём кого-то ещё. Но пока...

Она встала и потянулась.

— Пока ты должен поспать, — сказала она. — Ты выглядишь как человек, который не спал неделю.

Курочкин усмехнулся.

— Я и не спал, — сказал он. — Почти.

— Тогда иди домой. И приходи завтра. Мы продолжим.

Курочкин встал. Он чувствовал странную лёгкость — ту, которой не чувствовал давно. Он не был один. У него была Анна. У него была книга. У него был год — может быть, больше, может быть, меньше. Но главное — у него был кто-то, кто верил ему.

Он вышел из лавки. Утро было серое, сырое, обыкновенное. Люди шли по улицам, и над каждым висело число. Курочкин смотрел на них — и впервые не чувствовал ужаса. Он чувствовал... ответственность. И что-то ещё. Что-то, похожее на надежду.

Он пошёл домой. А в книжной лавке на углу Соборной и Мясницкой осталась Анна Сергеевна — молодая вдова, владелица книжного магазина, — и на столе перед ней лежала

старая книга о видящих. Она открыла её на первой странице и начала читать заново. С самого начала. Потому что теперь это касалось и её.

Глава 6. Друг

Дмитрий Сергеевич Соколов появился в книжной лавке в конце ноября — в тот самый день, когда первый снег лёг на грязные улицы города N и наступила та особенная, промозглая тишина, какая бывает только в первые дни зимы. Он вошёл, стряхивая снег с шинели — старой, с потертым воротником, но всё ещё хранившей следы офицерского покроя, — и огляделся так, как оглядываются люди, привыкшие входить в помещения, где их не ждут.

Анна Сергеевна в этот момент разбирала новые поступления, стоя на стремянке, и Курочкин — по своему обыкновению — сидел в углу с книгой. Он поднял глаза на вошедшего и на мгновение замер.

Над головой Дмитрия Соколова висело 29.

Двадцать девять дней. Курочкин отвёл взгляд. Он давно научился не пялиться, но всё ещё не научился не замечать. И каждый раз, когда он видел маленькое число над молодым человеком, в груди поднималась знакомая тяжесть — та самая, которую он не мог ни заглушить, ни забыть.

Соколову было на вид лет тридцать пять. Высокий, плечистый, с прямыми тёмными волосами, падавшими на лоб, и лицом, которое война — или что-то другое, не менее тяжёлое — вылепила раньше времени. Одна рука у него висела немного скованно, и по тому, как он её держал, было вид-

но, что когда-то она была ранена. Глаза у него были серые, усталые, но в глубине их горел огонёк, который не гасится ни годами, ни обстоятельствами. Огонёк человека, который не смирился.

— Добрый день, — сказал он, стряхнув последний снег. — Мне бы что-нибудь почитать. Что-нибудь... — он помедлил, — про справедливость.

Анна Сергеевна обернулась. Она тоже увидела — нет, не число, она не умела его видеть, — но что-то в этом человеке, что заставило её задержать взгляд. Может быть, осанка. Может быть, голос. Может быть, то, как он сказал «про справедливость» — не вопросительно, а так, будто это слово было для него не пустым звуком.

— Есть у меня одна книга, — сказала она, спускаясь со стремянки. — Не новая. Но, по-моему, как раз то, что вам нужно.

Дмитрий Соколов родился в обедневшей дворянской семье, окончил кадетский корпус, служил в артиллерии, участвовал в русско-турецкой войне — и вернулся оттуда с ранением, с Георгиевским крестом и с твёрдым убеждением, что мир устроен несправедливо. Это убеждение не было плодом юношеской горячности. Оно было выстрадано. Он видел, как гибнут люди — хорошие люди, простые, честные, — и как остаются жить другие — подлые, продажные, трусливые. Он видел, как награждают не тех, кого следует. Как судят не тех, кого виноваты. Как молчат те, кто должен кричать.

После войны он вышел в отставку — не потому, что устал воевать, а потому, что понял: воевать больше не за что. Он вернулся в родной город, где у него не осталось ни семьи, ни состояния, ни надежд. Жил на маленькую пенсию, снимал комнату у мещанки на Заречной улице, и пытался найти хоть какое-то дело, в котором мог бы применить свои силы. Но дело не находилось. Город был тихий, сонный, погрязший в мелких интригах и крупной коррупции. Соколов пробовал служить — сначала в полиции, потом в земстве, — но везде наткнулся на одно и то же: на стену равнодушия, на ложь, на необходимость молчать, когда хочется кричать.

Он начал пить. Немного, не до беспамятства, но достаточно, чтобы вечера перестали быть невыносимыми. А потом бросил — потому что понял, что и это не выход. И остался один на один с собой: с своей яростью, с своим бессилием, с своим чувством, что жизнь проходит мимо, а он ничего не может изменить.

Он искал справедливость. В книгах, в разговорах, в вине. И не находил. Потому что справедливости, как он понял, в мире не существует. Есть только сила, есть только власть, есть только те, кто наверху, и те, кто внизу. И те, кто посередине, — как он, — не могут ничего.

В тот день, когда он зашёл в книжную лавку, он был особенно мрачен. Накануне он узнал, что человек, которого он считал виновным в смерти его товарища — сослуживца, погибшего на войне из-за чьей-то халатности, — получил по-

вышение. И ничего нельзя было сделать. Ничего.

Он вошёл в лавку, потому что не мог идти домой. Потому что дома было ещё хуже.

— Вот, — сказала Анна Сергеевна, протягивая ему книгу. — «О справедливости». Автор — немецкий философ. Не самый лёгкий, но честный.

Соколов взял книгу. Посмотрел на корешок. Потом на Анну Сергеевну. Потом — краем глаза — на Курочкина, который сидел в углу и делал вид, что читает.

— Благодарю, — сказал он. — Сколько с меня?

— Пока ничего, — сказала Анна Сергеевна. — Прочтите. Если понравится — вернётесь. Если нет — тоже вернётесь, расскажете.

Соколов усмехнулся — впервые за много дней. Усмешка вышла горькой, но всё же усмешкой.

— Хорошо, — сказал он. — Вернусь.

Он повернулся, чтобы уйти, — и в этот момент в лавку вошёл человек. Обыкновенный человек: мещанин, в тулупе, с красным лицом. Он прошёл к прилавку, спросил что-то про календарь, и Анна Сергеевна начала с ним разговаривать. Соколов задержался — сам не зная почему. Просто стоял у двери и смотрел.

А Курочкин в углу вдруг побледнел.

Он смотрел на вошедшего мещанина, и в его глазах было что-то такое, от чего Соколов мгновенно насторожился. Это был не страх. Не удивление. Это было узнавание. Курочкин

смотрел на мещанина так, как смотрят на человека, которого знают, но который ещё не знает о том, что его знают.

Мещанин купил календарь и вышел. Курочкин медленно встал. Лицо у него было белое, как снег за окном.

— Анна, — сказал он тихо. — Он был здесь вчера. И неделю назад. И месяц назад.

Анна Сергеевна обернулась.

— Кто? — спросила она.

— Этот человек, — сказал Курочкин. — Он следит. За мной. Я... — он замолчал, потому что заметил Соколова. Тот стоял у двери и смотрел на него в упор.

Повисла пауза. Соколов не двигался. Курочкин тоже. Анна Сергеевна переводила взгляд с одного на другого.

— Кто вы? — спросил наконец Соколов. — Что вы такое?

Курочкин вздрогнул.

— Я... — начал он. — Я не...

— Я видел, — сказал Соколов. — Только что. Вы посмотрели на него — и побледнели. Так смотрят не на случайного прохожего. Так смотрят на врага. Или на того, кого боятся. Что происходит?

Анна Сергеевна шагнула вперёд.

— Дмитрий Сергеевич, — сказала она. — Я не знаю, что вы видели. Но я прошу вас: не здесь. Не сейчас. Если хотите — приходите вечером. Мы поговорим.

Соколов посмотрел на неё. Потом на Курочкина. Потом снова на неё.

— Вечером, — сказал он. — Хорошо. Я приду.

Он вышел, унося книгу о справедливости и что-то ещё — что-то, чего сам пока не понимал.

Вечером он вернулся. Лавка была закрыта, но в подсобке горел свет. Соколов постучал. Анна Сергеевна открыла.

— Проходите, — сказала она. — Чай уже готов.

Они сидели втроём — Курочкин, Анна, Соколов — и молчали. Соколов ждал. Курочкин не знал, с чего начать. Анна смотрела на них обоих и, казалось, ждала того же, что и Соколов.

— Я расскажу, — сказал наконец Курочкин. — Но предупреждаю: это звучит как безумие. И если вы уйдёте и забудете — я не буду вас винить.

— Я останусь, — сказал Соколов. — Говорите.

И Курочкин рассказал. Во второй раз — так же, как рассказывал Анне. О настойке. О цифрах. О мальчике. О Наблюдателе. О тенях. О книге. Обо всём.

Соколов слушал молча. Лицо его не менялось — оно было напряжённым, внимательным, но без недоверия. Когда Курочкин закончил, он долго сидел, глядя в стол. Потом поднял глаза.

— Докажите, — сказал он.

— Что? — не понял Курочкин.

— Докажите, что это правда. Покажите мне что-нибудь.

Курочкин посмотрел на него. Потом закрыл глаза — и открыл. Тени в комнате стали чётче. Он видел их: серые следы

усталости у стола, где сидел Соколов; тёмно-красные сгустки ярости, разлитые по углам; бледно-голубые пятна тоски у окна.

— У вас в комнате, где вы живёте, — сказал Курочкин тихо, — есть тёмное пятно у кровати. Оно почти чёрное. Это ваша ярость. Вы лежите там по ночам и думаете о том, кого ненавидите. И вы не можете ничего сделать. И это мучает вас больше всего.

Соколов замер. Лицо его побелело.

— Откуда вы...

— Я вижу, — сказал Курочкин. — Не только числа. Тени. Следы эмоций. Ваша ярость — красная. Ваша тоска — голубая. Ваша усталость — серая. Я вижу их все. Здесь. На вас. На Анне. На всех.

Соколов смотрел на него долго. Потом медленно, очень медленно, кивнул.

— Хорошо, — сказал он. — Я верю.

Он встал. Подошёл к Курочкину. И протянул руку.

— Дмитрий Соколов, — сказал он. — Отставной поручик. Я не знаю, что вы такое, Пётр Иванович. Не знаю, дар это или проклятие. Но я знаю одно: я видел в жизни много зла. И я устал от него. Если вы хотите бороться — я с вами.

Курочкин смотрел на протянутую руку. Потом взял её. Ладонь у Соколова была твёрдая, сухая, горячая.

— Я не знаю, что делать, — сказал Курочкин честно. — Я не знаю, куда идти. Я не знаю, с чего начать.

— Начнём с начала, — сказал Соколов. — С того человека, который следил за вами. Кто он?

Они просидели до глубокой ночи. Курочкин рассказал о своих наблюдениях: о мещанине в тулупе, который появлялся слишком часто; о другом человеке — в чёрном пальто, с бородкой, — которого он видел у своего дома; о третьем, который стоял на углу, когда Курочкин выходил из канцелярии. Соколов слушал, задавал вопросы — короткие, точные, — и в его глазах разгорался тот самый огонёк, который Курочкин заметил ещё при первой встрече.

— За вами следят, — сказал Соколов. — Это ясно. Вопрос — кто и зачем. Если верить вашей книге, есть люди, которые ищут видящих. Чтобы использовать. Или уничтожить.

— Наблюдатель говорил то же самое, — сказал Курочкин.

— Значит, это правда. — Соколов встал и прошёлся по комнате. — Тогда первое, что нужно сделать, — выяснить, кто они. Второе — понять, чего они хотят. Третье — решить, что мы можем им противопоставить.

Он остановился и посмотрел на Курочкина.

— Вы можете влиять на числа? — спросил он.

— Могу, — сказал Курочкин. — Но я не хочу. Это опасно. Я не знаю последствий.

— Значит, будем действовать иначе, — сказал Соколов. — Без чисел. Без системы. Обычными методами. Я знаю, как следить. Знаю, как прятаться. Знаю, как драться, если придётся. У вас есть дар. У меня — опыт. Вместе мы справимся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.